

Содержание

<i>Вступление</i>	5
<i>Предисловие</i>	9
<i>Введение</i>	13
Глава 1. В преддверии.....	17
Глава 2. Новые люди	33
Глава 3. Первые долой	53
Глава 4. Ярославль	96
Глава 5. Контрабандистка	136
Глава 6. Эмиграция	174
Глава 7. Возвращение	205
Глава 8. После забастовки.....	220
Глава 9. Преддумые	239
Глава 10. Таврический дворец	265
Глава 11. Мы и они.....	291
Глава 12. Обвал.....	317
Глава 13. Революция продолжается	342
Глава 14. Дума за работой	369
Глава 15. Кадетская партия.....	393
Глава 16. Кооперация	420
<i>Фотоархив</i>	435

Вступление

*...только в свете прошлого мы, ...поколение,
которому пришлось строить настоящее
и стараться формировать будущее, можем
понять себя или надеяться, что нас поймут
потомки.*

ВЕРА БРИТТЕН. Заветы юности

Маленькой девочкой в середине 1950-х годов я жила в Вашингтоне с моей прабабушкой, Ариадной Владимировной Тырковой-Вильямс, моими дедушкой и бабушкой, ее сыном, Аркадием Альфредовичем Борманом, и его женой, Тамарой Викторовной (урожд. Дроздовой). Я помню, как с прабабушкой часто гуляла по Зоологическому саду и мы всегда останавливались, чтобы полюбоваться ее любимыми цветами — ландышами. Мне казалось, она любила их потому, что они напоминали ей о Вергеже, семейном поместье Тырковых на реке Волхов. Я также помню, как часто сидела у нее на коленях, когда мы за ее письменным столом играли с маленькими игрушечными фигурками, которые до сих пор у меня сохранились.

Для меня Ариадна Владимировна была доброй любящей «гренни». Благодаря моему дедушке я со временем начала понимать ее место в российской истории. Он часто говорил

мне: «У тебя была замечательная прабабушка». В предисловии к своей книге о матери он написал: «По разнообразию своих интересов и проявлениям своей личности моя мать была совершенно исключительным человеком»*. Он сознавал важность ее общественной и журналистской деятельности, значимость ее вклада в российскую историю и необходимость сохранить это все как ее наследие и живую о ней память.

Дедушка Аркадий для меня был ближайшей живой связью с моей семьей и нашим русским историческим прошлым. Он сделал все возможное, чтобы рассказать мне о жизни нашей семьи в России до революции и в последующие годы эмиграции. Устно и письменно, через множество личных историй и старых фотографий он передал мне знания о роли моей прабабушки в российской истории конца XIX и начала XX века и ее журналистской работе, которую она посвятила борьбе за свободу своей русской родины и которую она продолжала вплоть до своей смерти в 1962 году. Кроме того, он написал свои личные воспоминания, предназначенные исключительно для меня, как своей единственной наследницы. Он подключил меня к делу сохранения больших объемов семейных архивов до того времени, когда стало возможным их безопасное возвращение в Россию. Ряд материалов и писем дедушка передал Бахметевскому архиву русской и восточноевропейской истории и культуры Колумбийского университета в Нью-Йорке, где было организовано собрание рукописей Ариадны Владимировны. Я ему благодарна за то, что он привил мне любовь к этому наследию.

«На путях к свободе» — это вторая часть воспоминаний Ариадны Тырковой-Вильямс, опубликованных под названием

* Борман А. А. А. В. Тыркова-Вильямс по ее письмам и воспоминаниям сына. — Лувэн; Вашингтон, 1964. С. 5.

«То, чего больше не будет»*. По словам автора, обе части составляют продолжающийся рассказ о виденном и слышанном. Первая часть — это семейная хроника, а вторая часть — это более всего политическое повествование о борьбе за свободу и народное представительство — эпоха Государственной думы. Или семейная хроника, или политическое повествование, обе части составляют собой целостный набор картин, иллюстрирующих период исторического преобразования.

Выражаю признательность Государственному архиву Российской Федерации (ГА РФ) за помощь в завершении миссии моего дедушки по возвращению рукописей Ариадны Тырковой-Вильямс в Россию, где ее труды и наследие будут сохранены и защищены. И также выражаю мою искреннюю благодарность Ларисе Александровне Роговой, Сергею Владимировичу Мироненко, Алексею Алексеевичу Литвину и другим сотрудникам ГА РФ, без усталы трудившимся над организацией Архивного собрания Ариадны Тырковой-Вильямс. Благодарю Ирину Гусинскую, Алину Книжник, Анну Деркач и всех других сотрудников издательства «Альпина Паблишер» за информацию о растущем интересе современных российских читателей к тем временам, когда жила Ариадна Владимировна Тыркова-Вильямс. Их благодарю также за интерес, инициативу и сотрудничество по переизданию «На путях к свободе». Наконец, благодарю моего мужа, прот. Василия Лихваря, за поддержку и помощь в осуществлении этого проекта.

ЕКАТЕРИНА ЛИХВАРЬ

Февраль 2025 г.

Камберленд, Род-Айленд

* Тыркова-Вильямс А. То, чего больше не будет. — Париж: Возрождение, 1954.

Предисловие

Самостоянье Ариадны Владимировны Тырковой-Вильямс

*Теперь я знаю, что мир был бы несравненно счастливее,
если бы хорошие русские люди меньше поддавались
заморским ученым и больше вдумывались бы в прошлое
и настоящее своего народа.*

А. В. ТЫРКОВА-ВИЛЬЯМС

В Государственном архиве Российской Федерации (ГА РФ), крупнейшем федеральном архиве России, в фондах которого среди более чем 7 млн единиц хранения, есть абсолютная «архивная жемчужина» — документы личного архива члена кадетской партии с 1906 года Ариадны Владимировны Тырковой-Вильямс (13 [25] ноября 1869 года, Санкт-Петербург — 12 января 1962 года, Вашингтон). Ариадна Владимировна прожила долгую жизнь — без малого век. Как незаурядная личность она стала известной и популярной журналисткой, видной общественной деятельницей, известной не только в политических кругах Петербурга.

В основе ее мировоззрения лежала идея государственности, планомерную работу по созданию новой России она считала приоритетной для партии. Тыркова призывала идти в гущу

жизни, прорасти корнями в широких общественных слоях. В качестве первоочередной задачи на заседаниях ЦК она выдвигала задачу политического воспитания масс, расширения социальной опоры партии, включения в программу партии пункта о предоставлении женщинам избирательных прав.

А. В. Тыркова обладала несомненным литературным даром. Ее перу принадлежат рассказы, эссе, повести, романы («Жизненный путь», «Ночью», «Добыча»), печатавшиеся в известных и популярных журналах. Она — автор одной из наиболее полных биографий А. С. Пушкина, над которой трудилась более 30 лет.

Тыркова категорически отвергла большевистский режим, участвовала в выпуске газеты «Борьба», призывавшей к активному сопротивлению советской власти, выступала на митингах. После разгрома Учредительного собрания покинула Россию.

Архив А. В. Тырковой в 2008 году передали в ГА РФ ее потомки: правнучка Екатерина Куртовна Лихварь и ее супруг отец Василий, настоятель церкви в Род-Айленде, что на границе с Канадой. Сама мысль о возвращении уникальных документов возникла не спонтанно. Когда семья Екатерины и отца Василия переезжала в новый дом и паковались вещи, был обнаружен конверт с надписью, сделанной рукой ее сына Аркадия Альфредовича Бормана: «Вернуть в Россию, когда она станет свободной».

Это завещание, ждавшее своего часа многие годы, было исполнено. В Россию вернулись более 12 000 документов, все они сегодня доступны для исследований в читальном зале ГА РФ (Документы Тырковой-Вильямс А. В. за 1874–1972 годы. Фонд № 10230). Переломный для истории России 1917 год, активным участником событий которого была А. В. Тыркова, нашел отражение в ее записях, дневниках, обширной переписке с Н. Бердяевым и В. Набоковым, П. Милюковым, А. Деникиным и В. Врангелем, А. Ремизовым и многими другими выдающимися политическими и общественными деятелями, представителями науки и культуры.

В фонде хранятся не только документы самой А. В. Тырковой-Вильямс и ее сына Аркадия Альфредовича Бормана (за 1874–1974 годы), но и значительный корпус изобразительных материалов за 1814, 1889, 1900–1962, 2005, 2008 годы (фотографии, репродукции и др.) и предметы за 1900–1956 годы (пишущие машинки с русским и английским шрифтами времен жизни вне России; чемодан, видевший много разных дорог; магнитофонная катушка с записью выступления А. В. Тырковой-Вильямс в Великобритании в 1926 году).

Переиздание книги «На путях к свободе» возвращает читателя к творчеству выдающегося деятеля русского освободительного движения А. В. Тырковой, внимательное изучение документального наследия которой — женщины невероятно смелой, последовательной в своих поступках и преданной своему Отечеству (как бы далеко она от него ни находилась) — позволяет составить более точный, достоверный ее «жизни портрет», к которому вполне можно предпослать строки столь любимого ею А. С. Пушкина:

Два чувства дивно близки нам,
В них обретает сердце пищу:
Любовь к родному пепелищу,
Любовь к отеческим гробам.
(На них основано от века,
По воле Бога самого,
Самостоянье человека,
Залог величия его.)

Директор Государственного архива
Российской Федерации ЛАРИСА РОГОВАЯ
Научный руководитель Государственного архива
Российской Федерации СЕРГЕЙ МИРОНЕНКО

Введение*

Мое детство и юность совпали с той переходной эпохой, когда Россия перестраивалась с крепостного на свободный труд. Мой отец был крупным и безденежным новгородским помещиком. Он кончил Училище правоведения, был мировым посредником первого призыва, мировым судьей на Охте, где я и родилась в 1869 году, 13 ноября. Потом он перешел в Министерство финансов. Зимой мы жили в Петербурге, летом на Вергеже, в родовом тырковском имении на Волхове. Вергежа для моих родителей, для всех нас семерых братьев и сестер, для наших детей была радостью и опорой. Через нее были мы глубоко связаны с деревенской, крестьянской, со всей русской жизнью. И с природой. Обо всем этом я писала в воспоминаниях о моем детстве и молодости. Они печатаются в парижском журнале «Возрождение». В настоящей книге, перед тем как рассказать об Освободительном движении, свидетельницей и участницей которого я была, я скажу только несколько слов, откуда пришло, как зарождалось во мне то политическое беспокойство, которое понудило меня присоединиться к бурной борьбе с исторической властью. Огромное, любовное влияние имела на нас, детей, моя мать. Она была убежденной шестидесят-

* Лексические и стилистические особенности речи автора полностью сохранены.

ницей. Либеральные взгляды она почерпнула из христианского учения и из книг. Могла их перенять и от своего отца. Он был офицер, служил в Аракчеевских военных поселениях, которые тянулись напротив нас по правому берегу Волхова. Вергежа была на левом берегу. Судя по рассказам матери, не только мой дед, но и некоторые его сослуживцы были люди просвещенные, гуманные. Деда я не знала, он умер до моего рождения, но косвенное влияние на меня оказал. В амбаре, на пыльном чердаке, в ящике с его книгами я нашла объемистый том в кожаном, с золотым тиснением переплете. Это была иллюстрированная «История жирондистов» Ламартина, чуть ли не первое парижское издание. Я ее несколько раз перечитала. Эти рыцари свободы оставили глубокий след, заразили меня своим человеколюбивым безумием. Мне, конечно, и в голову не приходило, что придет время, когда я буду окружена такими паладинами свободы, буду делить их мечты. И их безумие.

Мне было тогда лет тринадцать. Не только Ламартин, но и другие книги, разговоры, события, арест и ссылка в Сибирь моего брата Аркадия, все это толкало — не скажу мысли, какие в этом возрасте мысли? — а чувства в определенную сторону. Еще более глубокое, чем от Ламартина, влияние, более повторное внушение, да еще ритмическое, шло на меня от Некрасова. Его гражданская поэзия, его призыв — «где трудно дышится, где горе слышится, будь первым там», его «Русские женщины» — все волновало наше пробуждающееся сознание. Я говорю во множественном, потому что в гимназии княгини А. А. Оболенской, где я училась, у моих подруг тоже были ищущие умы. Среди учащихся и учащихся царил дух просвещенного гуманизма, за которым наше чуткое ухо ловило косвенное порицание многих русских порядков.

Для меня гимназия была еще дорога тем, что там я научилась дружбе. Самыми близкими моими школьными прия-

тельницами были Вера Черткова, дочь обер-егермейстера Г. А. Черткова, который смолоду зачитывался Герценом и тайком привозил из Лондона «Колокол». Лида Давыдова, дочь К. Ю. Давыдова, известного виолончелиста и директора Петербургской консерватории. Позже она вышла замуж за одного из первых русских марксистов, за М. И. Туган-Барановского. И, наконец, Надя Крупская, позже жена Ульянова-Ленина. Они с матерью, вдовой судейского чиновника, жили на пенсию более чем скромно, но уютно, тепло. Эти три мои самые близкие гимназические подруги принадлежали к совершенно различным кругам петербургского общества, но у всех, как и у меня самой, были дерзкие, беспокойные мысли. Это вообще свойственно юности. Но на нас действовала и эпоха. В ней шевелилась, таилась потребность к протесту, к резкой перемене в общественной жизни. К свободе мыслей и действий.

Это сказалось еще при Александре III, после неурожая 1891 года, когда правительство было вынуждено на время примириться с участием общественных деятелей в борьбе с голодом. В этой работе я участия не принимала. Я уже была замужем. У меня был сын. Позже родилась и дочь. На несколько лет я ушла в семейные радости и печали. Но с книгами я не расставалась, и ход мыслей моих не обрывался. К чему они меня привели, об этом я и говорю в настоящей книге.

В ней я рассказываю о людях, которые добивались политической свободы, но их политические мысли и доводы передаю как можно короче. Они все это изложили сами в своих статьях, книгах, речах, гораздо лучше, чем я могу это сделать по памяти. Моя задача — передать их душевный склад, ту общую психологическую среду, в которой происходило Освободительное движение. По мере сил запечатлеть отдельный облик каждого — самое трудное в писательстве.

Я начала писать воспоминания под немецкой оккупацией, без книг, приготовила их к печати позже, в Версале и Нью-Йорке, где могла бы достать книги, касающиеся той эпохи. Но я не сделала этого. Я поставила себе задачей передать только мой личный опыт, связанный с этим важнейшим отрезком русской истории. Я сделала исключение только для главы «Революция продолжается». Я взяла для нее из крайне интересной книги В. А. Маклакова, «Вторая Дума», сведения о попытке Столыпина сговориться с кадетами, так как считаю этот эпизод необычайно показательным и для власти, и для оппозиции, а сама я о нем почти ничего не знала.

И еще несколько справок я взяла из воспоминаний А. А. Кизеветтера, «На рубеже двух столетий». Остальное писано по памяти.

Ариадна ТЫРКОВА-Вильямс

Февраль 1952 г.

Нью-Йорк

Глава 1

В преддверии

Я не пишу истории, у меня нет под рукой ни книг, ни документов, нет даже заметок, которые я иногда делала. Это только воспоминания, рассказ о том, что я видела, слышала, среди чего росла и жила. Пишу только то, что удержалось в памяти. Начала писать в конце 1940 года в По, в небольшом городке, на юге Франции, с чудесным видом на Пиренеи. Сейчас пишу в Гренобле с не менее чудным видом на Альпы. Где буду кончать? Удастся ли кончить? Кто знает? В 73 года на завтрашний день смотришь осторожно, особенно сейчас, в 1943 году. Но я постараюсь сохранить в памяти людской то, чему была свидетельницей, иногда участницей, передать нарастание, дыхание событий, над которыми будущим историкам предстоит ломать голову. Если только история, книгопечатание, библиотеки, архивы, все, из чего складывается культура, не будет снесено бурями.

Воспоминания мои я принялась писать, потому что считаю необходимым удержать память о нашей эпохе, завершившей определенный период русской жизни, а может быть, и не только русской. О себе я стараюсь говорить поменьше, но все-таки говорю. И я была частицей, хотя и малой, того оппозиционного кипения, которое тогда же стали называть Освободительным движением. Теперь, после всего, что терпит Европа, чем болеет Россия, я иначе отношусь ко многому, что тогда происходило, в чем я так или иначе принимала участие.

Мне виднее стали наши слабости, ошибки, заблуждения. Но я не отрекаюсь от своего прошлого, от основных идеалов права, свободы, гуманности, уважения к личности, которым и я, по мере сил, служила. Я горько сожалею, что наше поколение не сумело их провести в жизнь, не сумело, не смогло утвердить в России тот свободный демократический строй, к которому мы стремились. Екатерина II говорила, что ставит себе целью блаженство каждого и всех. В этих словах много мудрости. Под всеми она разумела Россию. Мы перенесли центр тяжести на каждого, забывая завет другого великого государя, Петра I: была бы Россия жива... Забывали не потому, что хотели гибели России, а по ребяческой, невдумчивой уверенности в ее незыблемости.

Но в основе наших страстных домогательств было стремление ко всеобщему блаженству, а не к своему личному благополучию, а уж тем более обогащению, как это часто бывало с политиками в Европе. Зато в русской оппозиции было много незрелого, наивного, непродуманного и, что оказалось опаснее всего, много государственного простодушия.

Чем больше память возвращает меня к тому прошлому, тем с большим удивлением замечаю я, что европейские потрясения и обвалы, среди которых приходится жить сейчас, преемственно связаны с тем, что думали и делали мы, русские, полвека назад. Если бы в конце прошлого и в начале нынешнего столетия наиболее деятельная, настойчивая, увлекающаяся часть русского общественного мнения не была слепа к русской действительности, не была одержима страстью к протесту, не было бы двух европейских войн, не было бы азиатских волнений, и я спокойно писала бы мои воспоминания дома, в России, а не на чужбине. Но случилось иначе.

Вышло так, что то, что мы считали нашим русским делом, нашей русской борьбой за новую жизнь, превратилось в преди-

словие к тому, что ожидало Европу, что отразилось на жизни всех народов на всех пяти континентах. То, о чем я пишу, стало частью и их истории. Ведь марксизм, который сейчас имеет такое огромное влияние на политику всего мира, стал реальной силой благодаря русской революции, хотя вначале марксизм был только одним из слагаемых русской революции. Началась она 14 декабря 1825 года. С тех пор революционные искры то тлели, то разгорались в беспокойных умах, пока, уже в XX веке, не промчались степным пожаром по всей России и дальше по всему миру.

Подземное революционное горение отражалось на жизни всех думающих людей: и тех, кто разжигал огонь, и тех, кто старался его потушить. Отблески этого огня отражались на всем, что с юности я видела, слышала, читала, думала, чувствовала. Чтобы понять русскую действительность за последнее столетие, надо помнить об этом непрерывном, жгучем, неудержимом, мятежном беспокойстве. Оно нарастало, оно крепло, пока, в 1917 году, не разразилось сокрушительной революцией, страшным историческим обвалом, который опрокинул жизнь сначала культурных классов, потом переломал весь склад жизни и крестьян.

Для меня ускорение революционного ритма совпало с резкой переменой в моей личной жизни. Она так сложилась, что мне пришлось зарабатывать на себя и на детей. Я была к этому не подготовлена, не представляла себе трудностей, которыми жизнь часто встречает новичков. У меня не было профессии. К счастью, я сразу схватилась за журналистику, сделала писательство своим ремеслом, которому и до сих пор служу. Это позже сблизило меня с деятельной оппозицией. Но вначале я чувствовала себя на новой дороге очень одинокой, тем более что я еще не видела перед собой общественных задач. Да и перед общественным мнением они еще только начинали

выясняться. Не было маяков, по которым я могла бы держать курс. Это было едва ли не самое тяжелое для меня.

Только ответственность за детей я ясно сознавала. Я взяла их к себе, когда разошлась с мужем. Так или иначе, надо было выгребать. Летом я перевозила детей в деревню, к маме, и сама больше жила там, чем в городе. На Вергеже я опять окупалась в теплую, светлую мамину жизнь, сливавшуюся с красотой родного деревенского простора. Осенью, с началом школьного года, мы с детьми возвращались в Петербург. Мы жили в маленькой, дешевой квартире на Песках. Вся жизнь была дешевая, похожая на то, что я, гимназисткой, видела у моей близкой подруги, Нади Крупской. Тогда я удивлялась, как могут они с матерью существовать в такой тесноте? Теперь пришлось понять. Часто и на такое житье не хватало денег. Работы почти не было. Я оторвала детей от обеспеченной жизни, и что же я им даю взамен?

Безденежье меня давило. Я не умела проталкиваться, пробиваться. Этим даром судьба меня не наградила. Среди писателей были у меня знакомые, с ними было приятно, весело болтать, но никому из них не приходило в голову помочь мне найти работу. Может быть, то, что я помещичья дочь, создавало иллюзию моей обеспеченности. Мои купленные раньше в Париже платья, которые я кое-как перешивала, донашивала, тоже придавали мне такой вид, что меня могли считать богаче, чем я была. Обманывала и моя задорная, независимая манера держаться — стой на рогоже, говори с ковра. Хозяйка «Мира Божьего» А. А. Давыдова, с дочерью которой я была очень дружна, раз предложила мне перевод французской книги об энциклопедистах, который и был напечатан в приложении к «Миру Божьему». Это дало мне короткую передышку. Переводная работа мне не очень давалась. А газетная сразу пришлась по душе. В Петербурге тогда издавалось очень мало

газет, и к ним у меня хода не было. Я начала с сотрудничества в провинциальной прессе, в ярославской газете «Северный Край», куда посылала «Петербургские Письма». Писалось легко, даже слишком легко и беззаботно. После уже довольно долгой писательской и общественной деятельности я заглянула как-то в свои первые фельетоны. Напала на статью о передвижниках — и мне стало жутко. Сколько легкомысленной отваги и как мало знания и понимания! Правда, что тогда в живописи разбирали не художественное творчество, а вложенное в картину содержание, тему, на которую она была написана. Ну и я брела по этой узкой тропинке.

С «Северным Краем» у меня сразу установились хорошие, товарищеские отношения, сначала по переписке. Но газета была бедная. Они не могли мне платить больше трех копеек за строчку, да и те с опозданием. Писать я могла им раз в неделю, строк триста—четыреста. В лучшем случае я выгоняла в месяц около 40 рублей. За квартиру надо было платить 35 рублей. Получала я еще несколько сот рублей в год дохода с небольшого кирпичного завода, построенного на арендованной у папы земле. Летние месяцы на Вергеже мне ничего не стоили. Но все-таки содержать себя и детей бывало так трудно, что я иногда просто терялась.

Мои дела стали поправляться, когда я начала писать во второй провинциальной газете, в «Приднепровском Крае», издававшемся в Екатеринославе. Но мое благоденствие продолжалось не долго. Разыгралась история, характерная и для положения прессы, и для настроения журналистов.

«Приднепровский Край» был больше и несравненно богаче ярославской газеты. В редакции я никого не знала, но мои статьи понравились, и они сразу за меня ухватились, просили писать побольше. Я писала им обо всем, что приходило в голову: о театре, о книгах, о новостях иностранной жизни

и литературы. Первые мои рассказы были напечатаны в «Приднепровском Крае». Политических тем я, конечно, не касалась. Цензура их не пропускала. Но о чем бы мы ни писали, власть всегда чуяла в наших словах и в наших умолчаниях строптивый дух оппозиции. И была права. Но и мы были не виноваты, что нам тесно, что мы переросли загородки, куда правительство упрямо втискивало русскую мысль. Правительство не хотело, не умело дать исход накопившимся общественным эмоциям и политическим запросам, не понимало, что нарастает энергия, которую опасно держать под спудом.

Цензура была нас и по карману. Оба редактора, и ярославский и екатеринославский, все мои статьи были готовы печатать, все принимали. Но цензура нередко их запрещала. За непропущенные статьи мне никто не платил. Было нелегко угадать, что проскочит, что нет.

В Екатеринославе тоже шла война между вице-губернатором и редактором Лемке. Это был отставной офицер, задорный, с большим желанием играть в левых кругах роль. Позже он написал несколько книг о цензуре и о революции. Но в то время он был начинающий журналист. Не знаю, был ли он уже тогда членом социал-демократической партии, но позже он стал членом коммунистической партии. Как редактор «Приднепровского Края», Лемке, как, впрочем, и многие провинциальные редакторы, яростно воевал с местной цензурой. Порядок был такой: корректура набранного номера посылалась к цензору. Он отмечал неугодные ему места, и, когда расчерканный красными цензорскими чернилами лист возвращался в редакцию, надо было в спешном порядке, ночью, вынимать преступные места, кое-как штопать страницы, затыкать опустошенные гранки материалом, раньше прошедшим цензуру. Лемке попробовал завести другой порядок. Он стал рассылать газету в том виде, как она была получена от цензора. Страницы белели пустыми

местами. Чиновники злились, но не было закона, запрещавшего оставлять в статьях и между статьями пустоту. Наконец Лемке переборщил. Не знаю, составил ли он номер очень резко, или цензор был в тот вечер сердит, но корректурные листы вернулись из цензуры почти сплошь замазанные красным. Не осталось ни одного живого места, одни заголовки и отрывистые строчки непонятного текста. Лемке так и отпечатал плешивую газету и разослал подписчикам белые страницы, на которых кое-где были отдельные фразы. Начальство взбесилось. «Приднепровский Край» был закрыт. Но хозяин газеты, миллионер-подрядчик Копылов, был в добрых отношениях с местной администрацией и умел устраивать свои дела. Он добился разрешения возобновить издание газеты, но уже без Лемке, который, в ответ на свое увольнение, немедленно разослал всем сотрудникам письмо, где сообщал, что ушел из редакции «по принципиальным причинам», и спрашивал, согласны ли мы подписать коллективное заявление, что мы тоже уходим и без него сотрудничать в «Приднепровском Крае» не можем?

Для меня, как и для большинства сотрудников, это была пренеприятная история. «Приднепровский Край» был опорой моего тощего бюджета. Они платили мне целый пятачок за строчку, и платили исправно, чего про «Северный Край» я сказать не могу. Но делать было нечего. Такая была заведена между русскими писателями и журналистами мода, что мы табунком входили в редакции и табунком из них вылетали. Я вздохнула, но написала Лемке, что он может и мою подпись поставить.

Прошло немного дней, и прислуга ввела в мою гостиную приземистого господина с круглой бородкой, с быстрыми глазами, с толстой золотой цепочкой, блестящей на пестром жилете.

— Позвольте представиться — Копылов.

Франтоватым жестом актера, разыгрывающего на провинциальной сцене барина, он поднял к губам мою руку и звучно ее поцеловал.

— Очень рада познакомиться. Садитесь, пожалуйста.

Острые глаза подрядчика обежали мою тесную комнату, прикинули цену стульям и дивану, обитым дешевым кретоном, заметили одинокую полку с книгами, простой, крашенный стол, пол без ковра, стены без картин и уже с большей уверенностью остановились на хозяйке.

— А я, барынька, счастлив с вами познакомиться. Давно хотел. Бойкое вам Бог дал перо. Хоть бы мужчине впору... Хе... хе... хе... Очень читатели одобряют.

— Спасибо, что сказали. Мне издалека трудно было понять, одобряют или нет. А мы, пишущие, любим, чтобы читатели нас хвалили. Спасибо.

— Нет, это вам спасибо. Так и у газетчиков спрашивают — Вергежский есть? Если нет, не дам пятака. Хе... хе... хе... И ведь все думают, что Вергежский — это мужчина. А Вергежский — вот он какой.

Он разглядывал меня с бесцеремонным одобрением. Его занимало, что вот какая «барынька» у него работает, получает от него деньги. Не давая мне опомниться, он стал рассказывать мне про себя, стараясь дать мне понять, что размах у него немалый.

— Вот приезжайте к нам в Екатеринослав в гости, увидите, как у нас люди живут. С читателями познакомитесь. У меня поживете. Я для вас гостей собираю. Меня весь округ знает. Я ведь не только газету, я и театр держу. Большой я охотник до театра. Правда, денег в него прорва уходит. Куда больше, чем в газету.

— Еще бы. Я слышала, что газета вам хороший доход приносит...

Он самодовольно ухмыльнулся:

— Слышали? Что ж, жаловаться нечего, но можно деньги и лучше оборачивать. Да я и газету не ради прибыли завел.

— Не ради прибыли? А ради чего?

— Для плезуру. Все-таки издатель большой газеты — это вам не кто-нибудь. Только театр, хоть игрушка и дорогая, пожалуй, еще занятнее. Я человек веселый, и актеры народ веселый. Про актрис и говорить нечего. Хе... хе... хе...

Я демонстративно промолчала. Он понял. Такие подрядчики, вышедшие из низов в миллионеры, были люди сметливые и психологи недурные. Копылов еще раз ощупал глазами дешевую обстановку моей гостиной, повертелся на стуле и, глядя мимо меня в окно, небрежно спросил:

— Может, готовая статейка есть? Я пошлю.

— Нет. Вы же знаете... Мы...

Он не дал мне договорить:

— Слыхал, барынька, слыхал. Пустяки все это. Газета у меня солидная. С начальством я ладить умею. Пишите себе, как писали. Мы вас не обижали и не обидим. Можно и гонорарчику прибавить, и фикс назначить. Авансик получить желаете? Чего с почтой возиться, когда контора у меня в кармане.

Он вытащил из-за пазухи свою контору. Раскрыл туго набитый бумажник. По привычке своей верить во всемогущество денег, он мог не шутя думать, что вид сотенных делает меня покладистее. Я не рассердилась, только засмеялась.

— Нет, спасибо. Какой же аванс? Ушел от вас редактор, вслед за ним ушли и сотрудники. Ушла и я. Вот и все.

— Полноте, барынька, чего же вам-то уходить? У меня уж новый редактор есть. Поведет все по-старому. И вы пишете по-старому, а уговор сделаем новый, посдобнее. Хотите?

Моя улыбка сбивала его с толку. Он видел, как я живу, и надеялся, что не так уж я глупа, чтобы отказаться от хоро-

шего заработка. Похлопывая рукой по бумажнику, он ласково уговаривал меня:

— Ну зачем от денег отказываться? Берите аванс, а там когда-нибудь сочтемся. Я вас прижимать не буду, отдадите, когда хотите. Только пишите. Ну, сколько вам денег отсыпать?

Я встала.

— Нисколько. Мы уже в расчете. Контора мне все выслала. А писать у вас мне больше не приходится. Вам это трудно понять. В каждой артели у ваших рабочих свой порядок. Мы, писатели, также артель. Одного тронут — все за него стать должны. Так у нас полагается.

Встал и он. С недоумением повертел в руках бумажник, точно все еще удивляясь, что такой жирный аргумент не пробил бабьего упрямства, сунул его за пазуху и уже без прежней развязности не очень уверенно протянул мне руку. Я положила в нее свою. Чего мне было на него сердиться? Тем более что мне говорили, что он выдал Лемке годовое жалованье, хотя мог этого и не делать. Правда, сотрудники от этого не стали богаче. Я не знала, чем буду платить за квартиру следующий месяц?

В дверях Копылов приостановился. По его умному мужицкому лицу пробежала лукавая улыбка.

— Эх, барынька, барынька, какая вы колючая... Не подступись... А я-то ехал в Питер, думал, Вергежский со мной к Палкину пообедать поедет, а потом в театр. Вот вам и театр! Вот вам и Вергежский!

Мы обменялись с ним взглядом. В острых глазах разбогатевшего мужика была насмешка над моим неумением устраиваться, но был и отблеск чего-то другого. Мой вежливый, но решительный отпор вызвал в нем спортивное одобрение.

— Да, вот Вергежский, уж какой есть, — тоже с усмешкой сказала я. — Ну что ж, у каждого своя повадка, ничего не поделаешь. Счастливо оставаться.

Больше я его не видала, в его газете писать перестала и сразу очень обеднела. Я все еще не умела бороться за существование, и подчас это было очень тяжело.

Набежала небольшая работа в «Сыне Отечества», который издавался в Петербурге. То есть по существу работа большая, ответственная, утомительная, но платили за нее гроши, и редакция совершенно не интересовалась тем, что я пишу и понимаю ли я что-нибудь в театре, о котором должна писать? «Сын Отечества», созданный в 20-х годах XIX столетия Фаддеем Булгариным, пережил несколько редакторов и в конце XIX века попал в руки народника С. Н. Кривенко, бывшего сотрудника закрытых «Отечественных Записок». Жена Кривенко, С. Е. Усова, была другом нашей семьи. Через нее я и попала в «Сын Отечества» как театральная рецензентка. Жалованья мне не полагалось, построчные я получала ничтожные, писать надо было коротко, печатали меня мелким шрифтом. Все подробности как будто мелкие, но для меня очень непитательные. Выходило рублей пять за заметку, а работа была ночная, приходилось еще и на извозчика тратиться, чтобы поспеть к выходу газеты.

В те времена даже бедные писатели держали прислугу. И у меня, в моей маленькой квартире, хозяйство вела кухарка, но с детьми мне приходилось много возиться самой, поэтому писала я в свои газеты по вечерам. А тут, раза два в неделю, надо было отправляться в театр, оттуда в редакцию, там писать отчет о премьере и домой возвращаться после полуночи. Не было времени подумать, разобраться. Хуже всего было то, что я никогда не была театралкой. Большинство новых пьес меня раздражало своей бледной пустотой и вульгарностью. Особенно не любила я бывать в Малом Театре у Суворина. Не знаю, было ли это предвзятое отношение, потому что мы все так не любили «Новое Время» и Суворина как редактора

и публициста, все в его театре казалось мне пошлым и плоским. Но и в Александринке тогда пахло затхлым. В этой, для меня новой отрасли журнализма мне все не нравилось. Спектакли кончались поздно, иногда около полуночи. Прямо из театра надо было ехать в редакцию и там второпях судить и пересуживать замысел автора, постановку, игру артистов. Эти ночные судбища и для драматургов, и для актеров большое испытание. Да и рецензенты писали бы толковее, если бы могли выспаться и на следующее утро спокойно просеять свои впечатления.

Искать работы я никогда не умела. Газет было мало. В журналы мне нечего было тогда предложить. Кончилось тем, что я переутомилась, не могла писать, путала слова. Я потеряла работоспособность. Мне стало страшно. Настоящим образом страшно за себя и детей. Я вообще не из пугливых и перед жизнью редко робела. Но это ощущение мозговой пустоты и полного своего бессилия меня чуть не раздавило. Меня спасло то, что я твердо знала, что я должна поправиться ради детей.

У меня было крепкое физическое чувство связи с ними. Мои дети, совсем мои. Я была спокойна, когда мы все трое были под одной крышей, когда они были тут, рядом. Когда я слышала топот их ног, их голоса, шум их жизни. Утром стремительные сборы в школу, хлопанье дверей, быстрый завтрак. Днем резкий звонок. Один, другой, третий. Прислуга ворчит:

— Ну, иду, иду... Чего трезвоните?

Она открывает дверь, и ко мне из передней летит запыхавшийся детский голос:

— Мама дома? Есть хочу! — Это священное восклицание всех школьников матери обычно слышат с удовольствием.

Уроки готовились до обеда, довольно позднего. Вечером мы втроем забирались на широкий, обитый темно-оливковым кретоном диван и я им читала. Это было лучшее время дня.

От детей, примостившихся как можно ближе ко мне, шло ласковое тепло. Они были частью меня самой, точно входили в меня. Я читала им Пушкина, Некрасова, Лермонтова, Андерсена, Киплинга, стихи, прозу, сказки, были и небылицы. Слушатели они были благодарные, ненасытные. У Софы и воображение было ненасытное. Адя смотрел на вещи трезвее, и его сердило, когда мы с Софой вслух сочиняли стихи. Он был прав, так как наши вирши были из рук вон плохи, но нас с ней это стихоплетство тешило.

Но одну форму сочинительства и Адя одобрял. Это были мои импровизированные рассказы, особенно похождения лисички. Сказка-побывальщина про лисичку тянулась из вечера в вечер. Целую зиму, если не дольше, лисичка была верной и лукавой нашей спутницей. Она вплелась в нашу жизнь, принимала участие в ее событиях, в шалостях, проступках, радостях, огорчениях. Усаживаясь на диван, охватив одной рукой дочь, другой сына, я и сама не знала, куда я поведу лисичку, что заставлю ее говорить и делать. Но игра захватывала и меня, и я, вместе с детьми, волновалась за нашу сказочную спутницу, когда она попадала впросак, и я радовалась, когда ей удавалось перехитрить противников.

Само собой разумеется, что на наши диванные заседания никто не допускался, и дети считали себя ограбленными, если в этот сумеречный час неожиданно появлялись гости или мне надо было уходить. Когда я писала театральные рецензии, мы все трое досадовали, что театр начинается как раз тогда, когда нам полагается сидеть на диване. Может быть, отчасти и из-за этого я не любила писать рецензий. Трудно было мне тогда угадать, что впереди меня ждет жизнь несравненно более поглощающая, чем ночная работа рецензента, что все меньше и меньше будет у меня оставаться времени для детей. Английская романистка Мэри Вебб говорит, что это несчастье писате-

лей, артистов, общественных деятелей, что они могут отдавать любимым, близким людям только частичку своей жизни. Она видела в этом своего рода контрибуцию, наложенную судьбой на тех, кто выступает из замкнутости семьи. По опыту своему знаю, как трудно, особенно женщине, распределять свое внимание, устанавливать равновесие между личным и общим.

Мое крепкое чувство связи с детьми, сознание, что я им нужна, помогли мне вылечиться. И целебный воздух Ялты. И встреча с князем Дмитрием Ивановичем Шаховским.

Я уже два года работала в «Северном Крае», но не знала ни своих товарищей по редакции, ни своих читателей. Это не придавало мне в работе уверенности. Точно в воду бросала я свои статьи, не зная, находят ли они отклик, нужна ли я кому-нибудь? Когда я надорвалась, я перестала верить в себя. В Крыму жизнерадостная художественная напряженность, излучавшаяся от кружка Станиславского, который привез в Ялту, в гости к Чехову, всю свою труппу, занимала меня, но и оттеняла мою неприспособленность, оторванность. Я не вошла в праздничную жизнь, игравшую вокруг меня. Мне казалось, что для меня все в жизни кончено, хотя на самом деле моя жизнь едва только начиналась.

И вдруг в мою дверь постучал Шаховской.

Он разыскал меня, чтобы передать привет от редакции «Северного Края» и посмотреть, на что похож этот Вергезский, статьи которого появлялись каждую неделю в их газете, где он был соредактором. Встреча с Шаховским была первой моей связью с общественностью, в которую я позже окунулась с головой. Его отношение ко мне было первым признанием моей пригодности, в которой я так часто сомневалась.

О Шаховском я почти ничего не знала, не знала ни его прежних исканий, ни его настоящей деятельности. Но что таких, как он, я еще не встречала, я это не могла не понять.

Мне сразу стало с ним легко, хотя я и сознавала, что смотреть на него приходится снизу вверх, а я к этому не привыкла. Это не было обидно. Так должно было быть. Его значительность я сразу признала. До тех пор я жила в затянувшейся школьной заносчивости. Редкая память, быстрая сообразительность, бессистемная, но большая, чем у многих сверстников и сверстниц, начитанность давали мне какие-то преимущества. Этому помогал и женский успех. Выйдя замуж за первого моего мужа, я попала в среду людей, от которых мне нечему было научиться. Сравнение с ними не развивало скромности. Изредка, в литературных кругах, встречала я людей, которые меня занимали, забавляли, но и только. Ни за кем из них я не хотела бы пойти, не могла бы пойти. Не знаю, кого за это корить — их? Себя? Или благословлять Судьбу, что она не привязала меня ни к одному из тогдашних кружков? А может быть, следует пожалеть, что ни толстовцы, ни народники, ни марксисты не взволновали смолоду моего воображения. Юность и молодость горят ярче, если в эти впечатлительные годы увлечет живая идеология и ее живые носители.

Все это мне принес Шаховской. Он принес мне молодость, хотя годами был значительно старше меня. Между нами сразу возникла дружба, глубокая, дарящая. Передо мной блеснули просторы, по которым я давно скучала. Не сразу открылась к ним дорога. Но мало-помалу я ее нашла, отчасти сама, отчасти при помощи новых друзей. Шаховской меня не поучал, не наставлял, никуда не загонял. Он слишком уважал свободу других, чтобы это делать. Он только присматривался ко мне, водил меня и детей на далекие прогулки по окрестностям Ялты, рассказывал мне про Ярославль, про редакцию, про Э. Г. Фалька, редактора «Северного Края».

— Вот переезжайте к нам. Будем вместе работать. Что вам в чиновничьем Петербурге киснуть.

И смеялся, глядя на меня ястребиными, круглыми глазами. Он вообще смеялся много и громко. Это сбивало с толку. Могло казаться, что он потешается над людьми. На самом деле он смеялся каким-то своим мыслям, даже не всегда мыслям, а облакам, проходившим где-то в душевной глубине. Шаховской был человек глубинный, как позже стали говорить, интуитивный. Но, как и многое в этом замечательном русском человеке, я это поняла только гораздо позже.

Встреча с Шаховским была для меня целительнее, чем южное солнце. Он расправил мою смятую душу, вдохнул в меня уверенность в моих писательских способностях, хотя хвалил меня редко, да и то мельком, точно подсмеиваясь. Я не была очень падкой на похвалу. Похвала меня смущала, вызывала неловкость. Я не верила, что это всерьез. Но каждое одобрительное замечание Шаховского прибавляло мне сил. Порой учила и его добродушная насмешка. В Ялте я еще не понимала, какое решающее влияние на мою жизнь окажет наша встреча. Но когда я возвратилась из Крыма в Петербург, новые голоса звучали в моей душе.